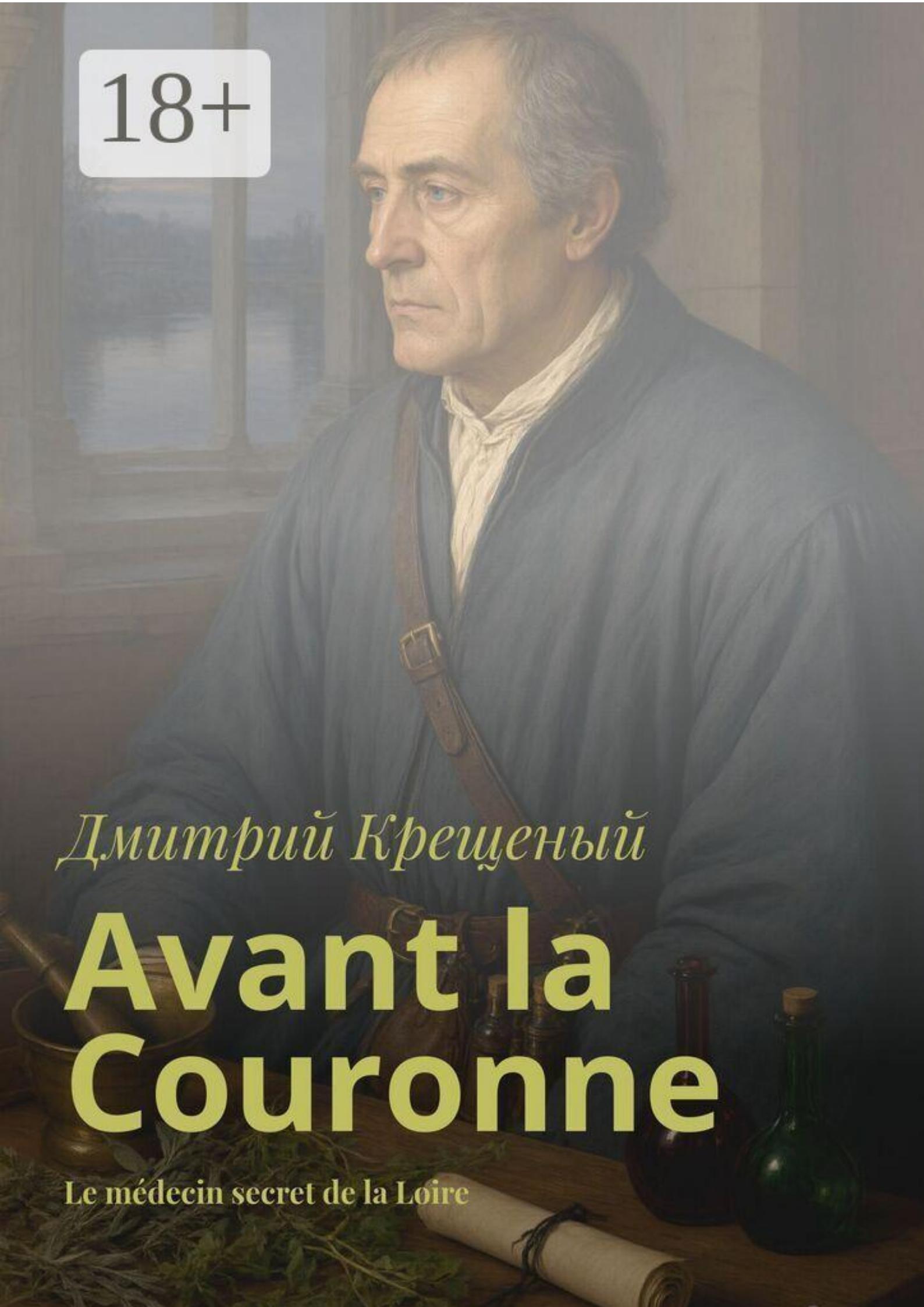

Дмитрий Крещеный

Avant la Couronne

Le médecin secret de la Loire

Дмитрий Крещеный

Avant la Couronne. Le médecin secret de la Loire

«Издательские решения»

Крещеный Д.

Avant la Couronne. Le médecin secret de la Loire / Д. Крещеный — «Издательские решения»,

Май 1429 года. За парадными хрониками и звоном мечей стоит тихая и жёсткая игра. Обозный лекарь, привыкший верить лишь весам, фактам и точному расчёту, оказывается между железной волей герцогини Иоланды Арагонской и упрямой семнадцатилетней девчонкой в мужском дублете. Никакой мистики — только реальные характеры, тайные аптекарские записки, чужие яды и попытка уберечь живого человека от большой политической ставки.

© Крещеный Д.
© Издательские решения

Содержание

Часть первая 6
Глава первая. Соль и железо 8
Глава вторая. Арагонский шёлк 10
Конец ознакомительного фрагмента. 15

Avant la Couronne
Le médecin secret de la Loire

Дмитрий Крещеный

Дизайнер обложки Qween Studio

© Дмитрий Крещеный, 2026
© Qween Studio, дизайн обложки, 2026

ISBN 978-5-0071-7697-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Avant la Couronne
Le médecin secret de la Loire

Часть первая

Avant-propos

L'Histoire, telle qu'on l'écrit dans les chroniques des rois et les registres des évêques, a toujours le goût du marbre froid et de l'encens. On y taille des statues d'une seule pièce, on y dore les armures, on y prête aux jeunes filles des voix descendues tout droit des nuées, et l'on oublie volontiers ce que pèse réellement un haubert de fer après six heures de marche sous la pluie de mai.

Pourtant, ceux qui ont vécu cette année 1429 non pas sur les marches d'un trône, mais au ras de la terre, entre les essieux grinçants des chariots d'intendance et l'odeur âcre du vinaigre coupé d'eau, savent que les grands desseins se tiennent rarement debout par la seule grâce du Ciel. Il y faut de la bonne poudre sèche, des comptes tenus au denier près, du linge propre pour étancher le sang, et surtout des mains discrètes qui travaillent dans l'ombre tandis que les hérauts sonnent de la trompette.

Je n'ai jamais cherché les honneurs de la cour ni la robe fourrée des médecins du roi. Mon métier tient tout entier dans une sacoche de cuir usée, quelques fioles de verre de Venise, une balance de cuivre et l'habitude ancienne de ne croire que ce que je peux peser, mesurer ou toucher du doigt. Si le destin et un vieux devoir envers la duchesse Yolande d'Aragon m'ont jeté sur les routes de la Loire, à l'arrière d'une armée en guenilles, ce ne fut pas pour chanter des hymnes, mais pour observer et recoudre ce que la folie des hommes déchirait.

Aux yeux des foules d'Orléans, des capitaines et des gens d'Église, elle était la merveille envoyée pour sauver le royaume — cette figure dressée sur les remparts, bannière blanche au poing, insensible au fer comme au doute. Mais derrière la toile épaisse de sa tente, loin des regards et des prières publiques, j'ai vu tout autre chose: une gamine de dix-sept ans, têtue et vive, qui détestait les robes parce qu'on y étouffe, qui portait le pourpoint d'homme par simple commodité, cachait sa fatigue derrière un silence bourru et savait fredonner à mi-voix des berceuses lorraines aux enfants du convoi quand personne ne l'écoutait.

Ce récit n'est ni une vie de saint ni une chronique de batailles. Les combats, les étendards et les discours officiels resteront au loin, comme un grondement d'orage derrière les collines. Ce que vous allez lire est le carnet d'un témoin placé trop près des coulisses pour se laisser prendre aux légendes — l'histoire d'une partie serrée où s'affrontent le calcul glacé des grands de ce monde, les poisons subtils des espions et la force tranquille d'une jeune fille qui refusait d'être l'instrument docile de qui que ce soit.

Car avant la couronne de Reims, avant le bûcher de Rouen et les vérités arrangées pour la postérité, il y eut d'abord des jours ordinaires faits de sel, de fer, d'herbes amères et d'une amitié silencieuse née au bord du fleuve. Et il y eut une faute, la mienne, que je n'ai pu peser sur aucune balance.

Предисловие

История, какой её записывают в королевских хрониках и епископских реестрах, всегда отдаёт холодным мрамором и ладаном. В ней высекают статуи из цельного камня, золотят доспехи, вкладывают в уста юных дев голоса, сошедшие прямо с небес, и охотно забывают о том, сколько на самом деле весит железная кольчуга после шести часов перехода под майским дождём.

Однако те, кто прожил этот 1429 год не на ступенях трона, а у самой земли, среди скрипучих осей обозных телег и едкого запаха разведённого водой уксуса, знают: великие замыслы редко держатся на ногах одной лишь милостью Небес. Для них нужен хороший сухой порох, счета, сведённые с точностью до последнего денье, чистое полотно, чтобы остановить кровь, и прежде всего незаметные руки, работающие в тени, пока глашатаи трубят в трубы.

Я никогда не искал ни придворных почестей, ни подбитой мехом мантии королевского медика. Всё моё ремесло умещается в потрёпанной кожаной сумке, нескольких склянках венецианского стекла, медных весах и старой привычке верить только тому, что можно взвесить, измерить или потрогать пальцами. Если судьба и давний долг перед герцогиней Иоландой Арагонской забросили меня на дороги Луары, в хвост оборванного войска, то вовсе не для того, чтобы петь гимны, а чтобы наблюдать и зашивать то, что рвало человеческое безумие.

В глазах орлеанских толп, капитанов и церковников она была дивом, посланным для спасения королевства — той самой фигурой на крепостных валах с белым знаменем в руке, нечувствительной ни к железу, ни к сомнениям. Но за плотным пологом её шатра, вдали от посторонних глаз и публичных молитв, я видел совсем другое: семнадцатилетнюю девчонку, упрямую и живую, которая терпеть не могла платьев, потому что в них душно, носила мужской дублет ради простого удобства, прятала усталость за угрюмым молчанием и умела вполголоса напевать лотарингские колыбельные обозным ребятишкам, когда её никто не слышал.

Этот рассказ — не житие святой и не хроника сражений. Бои, штандарты и официальные речи останутся вдалеке, словно раскаты грома за холмами. То, что вы прочтёте, — записки свидетеля, стоявшего слишком близко к кулисам, чтобы поддаться легендам: история напряжённой партии, в которой сталкиваются ледяной расчёт сильных мира сего, тонкие яды лазутчиков и спокойная сила девушки, отказавшейся быть послушным орудием в чьих бы то ни было руках.

Ибо прежде короны Реймса, прежде руанского костра и истин, причёсанных для потомства, были обычные дни — из соли, железа, горьких трав и молчаливой дружбы, родившейся на берегу реки. И была в них одна ошибка, моя собственная, которую я так и не сумел положить ни на одну чашу весов.

Глава первая. Соль и железо

Кровь у неё была густая и тёмная, почти как у старого вояки, который всю зиму просидел на солонине и чёрством хлебе, хотя ей едва исполнилось семнадцать.

Я сидел на перевёрнутом бочонке из-под пороха в тесном шатре под стенами Орлеана и медленно смывал с её левого плеча запекшуюся корку. Уксус, разведённый пополам с дождевой водой, щипал так, что у любого латника на её месте давно бы свело челюсти, но Жанна даже не моргнула. Она сидела прямо, уперев ладони в острые колени, и смотрела куда-то сквозь полотняную стенку шатра — туда, где за Луарой ещё догорали башни Турели и тянуло кислым дымом горелого дерева.

Наконечник английской стрелы вошёл неглубоко, скользнул по ключице, разорвав стеганый поддоспешник и кожу, но кость не задел. Повезло. Хотя при дворе в Шиноне уже к утру наверняка будут шептаться, что саму Деву спас архангел Михаил, отводящий железо от божьей избранницы.

Я знал про архангела кое-что другое. За три недели до этого, в замке Сомюр, герцогиня Иоланда Арагонская лично выбрала для неё кольчугу — не парадную, с серебряной насечкой, а старую, миланской работы, с мелким двойным плетением, которое не берёт ни один арбалетный болт на излёте. Герцогиня сама проверила каждое кольцо своими сухими, усыпатьми перстнями пальцами, а потом посмотрела на меня поверх свечи и тихо сказала:

— Береги её, мастер. Она должна дойти до Реймса живой. А что будет после коронации — не твоя забота.

Я обмакнул полотняную полоску в отвар зверобоя, приложил к ране и начал туго бинтовать плечо. Пальцы работали привычно, сами собой, пока глаза отмечали мелочи, о которых не напишут ни в одной хронике. Сбитые в кровь костяшки пальцев. Синяки на рёбрах от тяжёлого панциря, который натирает тело в кровь за два часа верховой езды. И странный, сухой жар в ладонях — не от раны, нет, этот жар держался у неё с самого утра, ещё до штурма.

— Вы пишете ей, мастер? — вдруг спросила Жанна.

Голос у неё был низкий, чуть хрипловатый, с тем тягучим лотарингским выговором, который в Париже и при дворе считали мужицким. Она не повернула головы, только чуть повела плечом под моими руками.

Я на секунду задержал узел повязки, но тут же затянул его ровно и крепко.

— Кому, Дева? — спросил я спокойно. — В Домреми, Вашей матушке? Вы же сами просили не посылать вестей, пока не возьмём город.

— Не матушке, — она наконец повернулась ко мне. Глаза у неё были серые, тяжёлые и слишком ясные для человека, который двое суток не спал. — Королеве Сицилии. Герцогине Иоланде. Она ведь платит Вам за то, чтобы Вы ходили за мной тенью.

В шатре стало тихо. Снаружи доносился глухой гомон обоза, ржание лошадей и чей-то пьяный смех — солдаты праздновали первую победу.

Я не стал отпираться. Врать ей было бесполезно — не потому, что ей шептали на ухо святые, а потому, что она слишком долго жила среди людей, привыкших хитрить ради куска хлеба, и чуяла фальшь так же безошибочно, как лошадь чует волка в кустах.

— Герцогиня желает знать, что Вы здоровы и ни в чём не нуждаетесь, — ответил я, складывая инструменты в кожаную сумку. — Она дала Вам людей, хлеб и пушки. Разве у неё нет права знать, цела ли её лучшая ставка?

Жанна усмехнулась — коротко, без злости, и в этой усмешке вдруг проступила обычная крестьянская девчонка, упрямая и себе на уме.

— Ставка, — повторила она, пробуя слово на вкус. — Она думает, что купила себе меч, мастер. Но меч не спрашивает, куда ему бить. А я скоро начну спрашивать. И вот тогда Вы напишете ей совсем другое письмо.

Elle croit s'être acheté une épée, maître. Mais une épée ne demande pas où elle doit frapper. Moi, je vais bientôt commencer à le demander.

Глава вторая. Арагонский шёлк

Через три дня после того, как англичане отступили от Орлеана, меня вызвали в Блуа. Официально — забрать ящик венецианских склянок и свежий опий для лазарета. Неофициально — ко мне в трактир на рассвете зашёл человек без ливреи, положил на стол серебряный турский грош и коротко кивнул на дверь.

Герцогиня Иоланда ждала не в тронном зале и даже не в покоях, а в маленькой угловой комнате над садом, где пахло сушёной лавандой, старым пергаментом и почему-то печёными яблоками.

Она сидела у узкого стрельчатого окна без чепца и тяжёлого бархатного платья, в простом тёмно-синем корсаже и тонкой сорочке. Тёмные волосы, уже тронутые серебром на висках, были собраны на затылке простой костяной шпилькой. В утреннем свете её лицо казалось усталым, но удивительно живым — резкие, хищные черты испанской инфанты вдруг смягчились, и на мгновение передо мной сидела не королева четырёх королевств, а немолодая женщина, которой до смерти надоело тащить на своих плечах чужую корону.

Когда я вошёл и поклонился, она не сразу повернула голову. Она смотрела вниз, во двор, где молодая служанка гоняла хворостиной гусей, и вдруг тихо, почти неслышно рассмеялась — коротким, чистым смехом, в котором не было ни капли придворного расчёта.

— Посмотри, мастер, — сказала она по-испански, забывшись, и тут же перешла на французский, но голос её ещё секунду оставался тёплым и по-девчоночьи звонким. — Вот так же и я гоняю этих герцогов от Шинона до Реймса. Только гуси умнее: они хотя бы знают, где их кормушка.

Я промолчал, но про себя отметил, как быстро у неё изменились глаза, стоило ей обернуться ко мне. Смех исчез, словно его стёрли влажной тряпкой. Лицо снова стало закрытым, гладким, как полированный камень. Та самая девчонка, что на миг выглянула из-за ставни, мгновенно захлопнула окно и задвинула засов.

— Садись, — кивнула она на низкий табурет у стола. — Вина не предлагаю, у тебя и без того взгляд слишком трезвый. Рассказывай. Не то, что кричат на площадях, и не то, что пишет мой зять в своих благодарственных грамотах. Рассказывай, что ты видел своими глазами.

Я сел, положил руки на колени и стал перечислять коротко, без лишних слов:

— Рана на плече поверхностная, затянется через неделю. Но она на пределе, Ваша Светлость. Спит по три часа, ест один хлеб, размоченный в вине, и почти не снимает панциря. У неё постоянный сухой жар, но не от гниения в ране. Этого я лечить не умею.

Иоланда внимательно слушала, чуть наклонив голову. Пальцы её левой руки машинально теребили край кружевного рукава — единственная мелочь, выдававшая напряжение.

— Она дойдёт до Реймса? — тихо спросила герцогиня.

— Дойдёт, — ответил я честно. — Если только сама не полезет под ядра раньше времени. Но дело не в этом. Она знает, что я от Вас. И она начинает понимать, что её ведут на поводке.

Иоланда замерла. Кружево перестало дрожать в её пальцах.

— Вот как, — медленно произнесла она, и в голосе её зазвенела сталь. — Семнадцать лет, из глухой деревни, читать не умеет… А умнее половины моего совета. Значит, времени у нас меньше, чем я думала.

Она встала, подошла к столу и достала из ларца небольшой свёрток, перевязанный чёрным шнурком. Но прежде чем протянуть его мне, она на секунду задержала руку, глядя в окно. Уголок её губ дрогнул — не в усмешке, а в какой-то странной, почти горькой зависти.

— Знаешь, мастер, — негромко сказала она, не глядя на меня, — когда мне было семнадцать, я тоже верила, что мир можно перевернуть одним словом. Мне быстро объяснили, сколько стоит это слово в золоте и крови. Ей объяснят дороже.

Она повернулась, и передо мной снова стояла герцогиня Анжуйская — холодная, точная и непроницаемая.

— В этом свёртке письмо без печати, — сказала она сухо. — Передашь его в Реймсе, сразу после миропомазания. Не раньше и не позже. И не вздумай заглядывать внутрь, мастер. Любопытство в твоём ремесле лечится хуже всего.

Я взял свёрток, взвесил его на ладони — лёгкий, не больше двух листов плотного пергамента, зашитых в тонкую вощёную ткань, чтобы не отсырели в дороге — и убрал за пазуху, под шнуровку камзола. Но уходить не стал. Стоял, смотрел на стол, где рядом с ларцом лежала оловянная тарелка с двумя нетронутыми печёными яблоками, от которых всё ещё поднимался тонкий, сладковатый пар.

Иоланда уже отвернулась к окну, снова глядя на гусей во дворе, но по тому, как чуть напряглись её плечи под синим корсажем, я понял, что она ждёт. Другого человека она бы уже оборвала одним взглядом или выставила за дверь кивком головы — при дворе не принято задерживаться, когда аудиенция окончена. Но меня она знала слишком давно, ещё с тех лет, когда я лечил от лихорадки её младшего сына в Анжере и однажды при всех сказал ей, что её придворные медики годятся разве что на то, чтобы пускать кровь старым охотничьим псам. Другого за такие слова сгноили бы в башне, а она тогда только усмехнулась и велела принести мне кувшин старого анжуйского.

Она медленно повернула голову и посмотрела на меня чуть прищурившись, без всякой строгости, скорее с тем усталым, понимающим интересом, с каким смотрят на старого знакомого, который вечно лезет не в своё дело, но делает это без корысти.

— Ты стоишь как мул перед бродом, мастер, — негромко сказала она, прислонившись плечом к каменному косяку окна. — Я же вижу, у тебя на языке вертится вопрос. Говори. Сегодня я добрая, а завтра может и не случиться.

Я чуть усмехнулся, перевёл взгляд с печёных яблок на её лицо.

— Я не о письме, Ваша Светлость. В чужие тайны я лезу только с ланцетом, когда надо вытащить гной. Меня другое занимает. Вы сказали, ей объяснят, сколько стоит её слово. А что будет потом? Когда дофина помажут на царство в Реймсе, когда колокола отзвонят и знамёна свернут. Куда Вы денете девчонку, которая привыкла разговаривать с архангелами и командовать герцогами? В деревню к овцам она не вернётся. В монастырь — тем более, она там в первый же месяц игуменью учить начнёт, как псалмы петь.

Иоланда замолчала. В комнате стало так тихо, что снизу, из сада, донёсся скрип колодезного ворота и ленивое кудахтанье кур. Она провела кончиком пальца по прохладному камню подоконника, собираясь с мыслями, и впервые за всё утро в её голосе не осталось ни капли привычной властной твёрдости.

— Ты задаёшь вопросы, на которые у королей не бывает ответов, мастер, — тихо произнесла она. — Мы живём от одного дня до другого, латаем дыры в крыше, пока не рухнул весь дом. Сейчас мне нужно, чтобы мой зять перестал прятаться по замкам и сел на трон в Реймсе. Для этого мне нужна она. А что будет осенью или через год…

Она подняла на меня глаза — тёмные, глубокие, в которых вдруг мелькнула та самая, спрятанная глубоко внутри девчоночья растерянность, которую она не показала бы даже родному духовнику.

— Может быть, я дам ей землю, титул и выдам замуж за какого-нибудь тихого, не слишком умного барона в Провансе, подальше от Парижа и от нашего двора, — сказала она почти шёпотом, словно примеряя эту мысль на вкус. — Пусть растит детей и вспоминает Орлеан как сон. Если, конечно, она согласится стать обычной женщиной. А ты как думаешь, лекарь? Она согласится?

Я вспомнил её серые, тяжёлые глаза в тусклом свете шатра, её сбитые в кровь костяшки пальцев и то, как она сказала про меч, который скоро сам начнёт спрашивать, куда ему бить.

— Нет, Ваша Светлость, — ответил я прямо. — Такие не соглашаются. Из них либо выжигают всё дотла, либо они сами сгорают.

Иоланда вздохнула — коротко, без жалобы, и тут же снова выпрямилась, словно застегнула на себе невидимый панцирь.

— Вот поэтому я и плачу тебе, мастер, — сказала она уже прежним, ровным тоном. — За то, что ты не говоришь мне того, что я хочу услышать. Иди. Склянки и опий уже погрузили на твою телегу. И съешь яблоко на дорогу, они ещё тёплые — сама велела запечь с мёдом.

Я вышел из замковых ворот Блуа, сунув за пазуху завёрнутое в чистый платок тёплое яблоко, и сразу решил, что на телегу к вознице не полезу. Телега пускай катит следом — ящик со склянками надёжно увязан в соломе, мул у возницы смирный, а до переправы через Луару всего ничего, каких-то две мили по старому виноградному тракту. Хотелось пройтись ногами, размять спину и просто поглядеть по сторонам, пока не начался новый поход и не потащили ко мне в шатёр очередных бедолаг с раздробленными коленями и гниющими обрубками.

Май стоял на редкость тихий и ласковый. После весенних дождей земля пахла густо — прелой листвой, влажной глиной и молодой травой, которая лезла из каждой щели между камнями мостовой. Вдоль дороги тянулись невысокие каменные ограды виноградников; лоза уже выбросила первые светло-зелёные побеги, и на солнце они казались почти прозрачными, будто вырезанными из тонкого венецианского стекла.

За последние месяцы я так привык смотреть на мир через полог шатра или сквозь дым костров, что поначалу даже щурился от этого простора. В лагере всё просто и тесно: железо, кожа, грязные бинты, запах крови, дешёвого кислого вина и немытых тел. Там человек виден только с изнанки — когда ему больно, страшно или когда он орёт в горячке. А здесь, за стенами замка, мир жил так, словно никакой столетней войны и в помине не было.

На обочине, под раскидистым грецким орехом, сидел старик в выгоревшем добела колпаке и не спеша плёл корзину из ивовых прутьев. Рядом с ним на траве спала рыжая лохматая собака, изредка дёргая во сне ухом от назойливых мух. Старик поднял на меня выцветшие глаза, кивнул без всякого почтения, но и без вражды, и снова принялся за свой прут. Ему не было дела ни до дофина, ни до англичан, ни до Орлеанской Девы. У него была своя работа, своя тень под орехом и свой день, который нужно было просто дожить до вечера.

Я пошёл медленнее, заложив руки за спину. Вспомнил, как в юности мечтал совсем о другом — не о ланцетах, не о гнойных повязках и уж точно не о придворных тайнах. Хотелось сидеть в тихой библиотеке где-нибудь в Падуе или Салерно, разбирать старые арабские трактаты, выверять пропорции, искать точные законы, по которым устроено человеческое тело и весь этот мир. Казалось, что всё можно вычислить, разложить по полкам, понять до самого дна. А жизнь распорядилась иначе: вместо тишины и книг дала обозную телегу, чужую войну и свёрток без печати за пазухой.

Впрочем, жаловаться было глупо. В этой медленной дороге, в скрипе колёс позади, в тёплом ветре, который нёс с реки запах речной тины и цветущей черёмухи, была своя, ничем не испорченная правда. Я достал из-за пазухи яблоко, разломил его пополам — мякоть была мягкой, пропитанной тёмным гречишным мёдом — и съел, глядя, как далеко внизу, в долине, лениво блестит на солнце широкая, спокойная Луара.

У самой переправы я задержался у небольшого придорожного трактира. На вывеске над дверью был намалёван кривой синий петух, а под навесом на дубовой скамье сидели двое бродячих музыкантов с лютней и волынкой, деля на двоих краюху сыра и глиняный кувшин. Увидев мой поношенный суконный плащ и кожаную сумку у пояса, один из них — худой, с весёлыми плутовскими глазами — поднял кружку:

— Эй, мастер! Не иначе как из замка? Неужто сама герцогиня заболела, раз такого важного лекаря на дорогу выпустила?

— Здорова твоя герцогиня, — ответил я, присаживаясь на край скамьи, чтобы дать отдохнуть ногам. — А я просто воздухом дышу. Надоело на чужие болячки глядеть.

— И правильно, — усмехнулся музыкант, пододвигая мне кувшин. — Болячки никуда не денутся, они терпеливые. А вот майский день второй раз не вернётся. Выпей с нами, мастер, за то, чтобы у тебя работы было поменьше, а у нас — побольше.

Я отпил немного терпкого, чуть кисловатого местного вина. Оно пахло солнцем и дубовой бочкой. На мгновение показалось, что и свёрток за пазухой стал легче, и всё, что ждёт впереди — и Реймс, и коронация, и неизбежная расплата, о которой так горько обмолвилась Иоланда, — ещё очень далеко, за горизонтом, куда пока можно не заглядывать.

Я поставил глиняную кружку на тёплую, вытертую до блеска доску стола и посмотрел на свои пальцы — в въевшихся пятнах от травяных настоев, от щёлочи, с которой я варил мыло для лазарета, и от старых ожогов углями жаровни.

Музыканты тем временем тихо переговаривались о своём, настраивая лютню, а я вдруг поймал себя на том, что мысленно снова возвращаюсь не в шатёр под Орлеаном и не в покои герцогини Иоланды, а в ту маленькую, закопчённую комнату с каменным полом, которую я снимал когда-то в Лионе, на задворках старого квартала ремесленников.

Там не было ни знамён, ни труб, ни чужих амбиций. На дубовом верстаке стояли аптекарские весы с медными чашами, рядом — спиртовка, тигли, тонкие оловянные прутки для пайки и стопка исписанных мелким почерком листов с расчётами плотности растворов и углов преломления света в гранёном стекле. Помню, как часами мог сидеть над одной-единственной медной трубкой для перегонного куба, подгоняя шов так, чтобы ни одна капля пара не ушла мимо, или выверял на бумаге пропорции солей и кислот, забывая поужинать.

Меня ведь не раз звали наверх. Сначала предлагали место старшего лекаря в городском госпитале, потом — должность при дворе одного из бургундских вельмож, с жалованьем, слугами и правом носить бархатный берет. Я всякий раз отказывался. Чужая власть, суета, необходимость держать лицо, кланяться нужным людям и принимать решения за толпу — всё это вызывало во мне глухую, физическую тоску. Гораздо честнее и спокойнее сидеть в тишине за столом, считать, паять, проверять гипотезу за гипотезой и знать, что твоя ошибка не стоит никому головы, а твоя удача — это точный, выверенный результат, который можно потрогать руками.

Но жизнь, как обычно, не спрашивает, чего ты хочешь. Она просто берёт тебя за шиворот и ставит туда, где ты меньше всего собирался оказаться — на пыльную дорогу между Блуа и Орлеаном, с тайным письмом за пазухой и девчонкой, которая вообразила, что может переспорить саму историю.

Я поднялся со скамьи, оставил на столе мелкую медную монету за вино и кивнул музыкантам на прощание.

— Бывай, мастер, — крикнул вслед худой лютнист. — Береги голову!

— Голова у меня своя, не казённая, — буркнул я, поправляя ремень сумки на плече, и не спеша зашагал к деревянному настилу переправы, за которым уже поднимались над лесом тонкие дымки походного лагеря.

У самой воды я на секунду задержался, глядя, как течение лениво крутит оторванный ивовый лист.

А ведь в той лионской каморке была ещё одна радость, о которой я скучал, пожалуй, сильнее всего. По вечерам, когда остывала жаровня и я убирал со стола весы, ко мне заглядывали школяры из местного университета — голодные, вечно растрёпанные мальчишки в заштопанных плащах. Они садились прямо на пол, на сундуки, на край верстака, и я потихонечку растолковывал им то, что на кафедре сухие схоласты превращали в мёртвую латинскую скуку: как устроен кровоток, почему вода закипает sooner на горе, чем в долине, и как по звёздам рассчитать путь корабля.

Любил я это дело — без громких званий, без профессорской мантии, просто говорить с молодыми, живыми головами и видеть ту секунду, когда у них в глазах вдруг вспыхивает понимание. С ними не нужно было притворяться или носить броню. Молодёжь сразу чует, говоришь ты с ней по-настоящему или просто отрабатываешь жалование.

Наверное, поэтому я и не смог отмахнуться от Жанны, как от очередной блаженной кликуши. Сколько бы ни было на ней железа и сколько бы ни трубили о ней на площадях, передо мной сидела всё та же семнадцатилетняя девчонка — упрямая, ершистая, почти студентка, которой жизнь вместо тихой аудитории выдала меч и бросила под стены крепостей. И от этого становилось только тяжелее: я знал, как дорого обходятся первые уроки, когда рядом нет никого, кто мог бы вовремя поправить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.